

ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕКСТ МЕРАБА МАМАРДАШВИЛИ

Эпельбуэн А. (Париж)

Двадцать лет с нами нет Мераба Мамардашвили, но снова и снова нам хочется вспомнить и заново пережить встречу с этим удивительным человеком, поразмышлять над его живым творчеством. Однако за такими размышлениями всегда кроется опасность, и о ней нас предупреждал сам Мераб, призывая к бережному обращению к ушедшим мыслителям. Вспомним его слова о Декарте: «Такой предмет медитации требует, конечно, осторожности, деликатности. Нельзя произвольно, не настроившись ему в тон, распоряжаться жизнью героя, который сам весьма ревниво оберегал свой внутренний мир и душу от каких-либо покушений извне или от клетки представлений, готовой захлопнуться за его мыслями и деяниями. Следует удерживаться от искушения туркать труп Декарта, ставить ему ручку так, ножку так или его именем избивать воображаемых или реальных врагов».

А опасность кроется в том, «что невольно слышишь голос умирающего Декарта, когда его сжигала простудная лихорадка и врачи пускали ему кровь (представляю, что Декарт-физиолог мог думать о таких врачах!), и он говорил иронически: “Господа, поберегите французскую кровь”»¹.

Именно о «французской крови» Мераба Мамардашвили мне и хотелось бы рассказать. Я остановлюсь на двух аспектах его личности и его творчества, каждый из которых связан с моим личным опытом как француженки. Во-первых, о корпусе его любимых философских текстов. Во-вторых, о его отношении к языку в целом и к французскому языку в частности.

Буквально через день после знакомства с Мерабом у меня возникло ощущение, что я нахожусь одновременно в советской Москве и в Латинском квартале начала 70-х годов. В условиях тогдашней брежневской Москвы это было шоком.

Я впервые приехала в Москву в 1969 году, за год до знакомства с Мерабом. Тогда я неожиданно открыла для себя мир ло-

¹ Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М.: Культура, 1993. С. 7.

зунгов и лживых речей, не имевших никакого отношения к той действительности, что меня окружала, на которую я смотрела своими глазами. Передо мной был мир блата, черного рынка, натурального обмена и тотального воровства. Ужас в меня все-ляла не повседневная реальность — люди как люди! — а невозможность называть вещи своими именами. Вместо этого навязывалась псевдонаучная терминология марксизма и ленинизма и убеждение, что жизнь при социализме прекрасна и высокоморальна. Острое ощущение абсурда, про который я читала в книгах, здесь вызывала сама действительность.

Мне вспоминается, как тогда же, в мой первый приезд в СССР, я испытала настоящий приступ паники. Я готовила дипломную работу по творчеству Платонова и, читая в Библиотеке Ленина очередную, десятую по счету, статью о его творчестве с обязательными цитатами из трудов вождя революции, я подняла голову и поняла: десятки или даже — как мне казалось тогда — сотни, тысячи людей вокруг меня сидели и с серьезным видом читали такие нелепые, абсурдные, лишенные всякого содержания статьи и книги. Мне показалось, что я нахожусь в стране либо полных идиотов, либо сумасшедших. Я решила немедленно бежать домой, во Францию, и бросить русистику.

Но, вернувшись в Париж, я узнала, что выиграла грант на годовую стажировку в МГУ. После долгих колебаний я снова приехала в Москву, пообещав себе не иметь дела с носителями псевдоязыка. Поэтому, когда я узнала, что некий грузинский философ хочет со мной познакомиться, я этой встрече упорно пыталась избежать. Недостаточно успешно, однако...

Познакомившись с Мерабом, я вдруг, как Алиса в Стране чудес, оказалась ни в Париже, ни в Москве, а в некой иной реальности — в его комнатухе, где можно было беседовать о книгах, которые я читала во Франции, но не могла читать в Москве, говорить о вещах, которые я видела в СССР, но которые никто, почти никто, не осмеливался называть своими именами.

Оказывается, в этой стране можно было жить свободно среди полной интеллектуальной несвободы. Этот симбиоз свободы — несвободы придавал особую интенсивность каждому разговору, жесту. Естественность поведения, чувства, ощущения была предельно необходима для жизни и для мысли.

Мераб осознавал важность несвободы. Луи Альтюссер несколько раз официально приглашал его приехать во Францию. Но Мерабу отказывали в выезде, и он, конечно, страдал взапер-

ти. Однако для него существовал и другой вариант — уехать окончательно посредством фиктивного или не фиктивного брака, но Мераб исключал эту возможность. Альтюссер вспоминал его слова: «Je reste car c'est ici qu'on voit à fond les choses, qu'elles sont à nu» («Я остаюсь, потому что именно здесь видна суть вещей, здесь они обнажены»)¹.

Вскоре после того, как мы познакомились, мы заговорили о философском образовании во Франции. Надо заметить, что во Франции на изучение философии в выпускном классе лица отводится девять часов в неделю. Я рассказывала ему о замечательных школьных занятиях с Сарой Кофман².

Сара Кофман была участником новой философской волны вместе с Жан-Люком Нанси, Филиппом Лаку-Лабартом и Жаком Деррида, который был постарше. Они вместе создали при издательстве «Galilée» серию «La Philosophie en effets», они вместе руководили ею. Единственная женщина среди мужчин — непростое дело!

Ее любимыми философами были Платон, Кант и Ницше. Как и Мераб, в те годы она увлекалась феноменолого-экзистенциальным философствованием, читала Гуссерля, Сартра... Я имела счастье учиться у нее за пять лет до знакомства с Мерабом, и мы остались друзьями. Ее метод работы с учениками можно обозначить как майевтический. Она вкладывала всю свою душу в переживание философии вместе с нами. Но казалось, что вся ее энергия, ее веселый смех были ответом на глубокий трагизм, источник которого мне было тогда не понять. Она великолепно посвящала в философию.

Я помню, как задумчиво смотрел на меня Мераб; он сказал тогда: «Вот философия, которой я хотел бы заниматься всю жизнь и которой я занимаюсь лишь частично: позволить молодежи пережить новое рождение через мышление. Помочь родиться мысли».

В этом смысле он и Сара Кофман были для меня близнецами — парадоксальными близнецами по разные стороны железного занавеса. Оба опирались на одних и тех же авторов, при-

¹ Письмо 16-го января 1976 г. См.: *Эпельбуэн А.* Переписка М.К. Мамардашвили с Луи Альтюссером // Мераб Константинович Мамардашвили (Из серии «Философия России второй половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2009. С. 361.

² *Сара Кофман* — автор множественных книг, среди которых: «Nietzsche et la métaphore» (1972), «Nietzsche et la scène philosophique» (1979), «Lectures de Derrida» (1984), «Mélancolie de l'art» (1985), «Paroles suffoquées» (1986).

держивались строгого анализа текстов, пренебрегали учебниками. Для обоих философия была физическим присутствием в мире. Их объединяла ненависть к доктринерству, любовь к Ницше, к рождению мысли, к процессу мышления, и острое, скрытое на заднем плане ощущение трагичности жизни.

В мае 1990 года я осуществила старую, казалось бы несбыточную, мечту: в Париже я познакомила Мераба Мамардашвили с Сарой Кофман¹. Но их встреча состоялась слишком поздно: через несколько месяцев Мераба не стало. А через несколько лет, в 1994 году, покончила с собой Сара Кофман. Мне кажется, они оба не смогли побороть свое отчаяние.

Сара Кофман никогда ничего не рассказывала о своем детстве. Но перед самой смертью она неожиданно опубликовала автобиографию «Улица Орденер, улица Лаба»². Только из этой самой последней ее книги — а до этого она написала более двадцати книг — стало ясно, как неотступно ее преследовало прошлое. На ее глазах, тогда четырехлетней девочки, произошла трагическая сцена ареста отца — еврейского раввина. Он погиб в Освенциме, а она продолжала жить в чужой семье, под чужим «я».

И Мераб Мамардашвили, и Сара Кофман знали, что значит быть лишенным своего собственного «я» и заново родиться в философии. Они оба знали о том, что произошло «в страшном двадцатом веке», как называл его Рене Шар, о том, что совершилось в нацистских концлагерях, в ГУЛАГе...

Мераб познакомил меня с Эрнстом Неизвестным. «Эрнст, — говорил мне Мераб, — побывал на войне и обрел там ценный опыт прямого контакта со смертью. Сжимая гранату в руке, он, будучи евреем, знал, если он сам не убьет, то тот, кто напротив, уничтожит его». Мы часто говорим о «незаконной радости» Мераба, но хочется подчеркнуть, что незаконность этой радости не столько происходит от отказа от окружающего мира, сколько является ответом на трагизм XX века. И все помнят необыкновенную выразительность глаз Мераба: его веселый взгляд был всегда очень веселым, сосредоточенный — очень сосредоточенным, а трагичный — очень трагичным.

¹ Странное совпадение: в тот день, когда Сара нас пригласила к себе, она извинилась, что не успела приготовить ужин, объясняя, что задержалась на конференции «Лакан и философы». Но она сразу добавила, что некая русская женщина, видимо сильный философ, выступила там с очень интересным докладом. Услышав ее фамилию, Мераб улыбнулся: «Да, Наталья Автономова — моя бывшая студентка!»

² *Kofman S. Rue Ordener, rue Labat. Paris: Galilée, 1994.*

Второй аспект его философской личности, его свободной личности, на который я хотела бы обратить ваше внимание, — это его особенное отношение к языку. Среди всех моих московских знакомых по-французски я говорила только с Мерабом. Не было выбора, это он говорил со мной по-французски. И не потому, что хотел совершенствовать свой язык, а потому, что для Мераба этот язык был языком свободы. Он прекрасно им владел, пользовался не правильным книжным языком, а живым, я бы сказала поэтическим. Он свободно играл языковыми регистрами, цитаты поэтов и мыслителей разбавлял пословицами. Он постоянно творил в языке, часто прибегал к просторечьям и созвучиям.

В декабре 1968 года Мераб писал Альтюссеру, который в тот момент находился в психиатрической больнице: «*Par procédure magique, je t'écris à l'adresse de l'école, pour que tu t'y trouves pour recevoir là ma lettre, qui n'est pas du tout une lettre mais un billet-doux*» («Прибегая к волшебству, я пишу тебе на адрес Школы, пусть ты окажешься там, чтобы получить мое письмо, которое и не письмо вовсе, а нежное послание»). «*Billet-doux*» — устарелое выражение французского либертинажа, которое дарит этой фразе почти физическое ощущение нежной ласки.

А вот открытка из Ялты. В ответ на письмо Альтюссера, который собирается приехать на Гегелевскую конференцию, Мамардашвили пишет: «...*je t'attends (et comment!) à Moscou en août <...>. Arrive, de toute façon. Je m'en fous pas mal de Hegel, ici (et ailleurs). Je divague devant les vagues*» («Я жду тебя (и как!) в Москве в августе <...>. В любом случае приезжай. Здесь (и где бы то ни было) мне плевать на Гегеля. Я впадаю в бред у волн»¹).

«*Je divague devant les vagues*» — созвучие этой виртуозной фразы очевидно. *Je divague* — тонкое движение мысли, воображения; *vagues* — волны. Я бы постаралась перевести это выражение Мераба, сохраняя ассонанс: «Я волнения полон у волн». Как передать на русский язык это расслабленное, блуждающее, легкое состояние разума между мыслью и бредом?

Французская культура и французский язык позволяли Мерабу именно быть легким, и эта легкость была для него чрезвычайно важна. Он не любил неврастеников и мучеников, он считал, что путь страдания — слишком легкий путь. Мудрость Мераба заключалась в умении совмещать легкость и глубину, серьез-

¹ Ibid. P. 360.

ность и трагизм. В том же процитированном выше письме к Альтюссеру Мераб пишет, перефразируя Аполлинера: «Et je lis... Proust et Apollinaire. Nous sommes tous mal-aimés. Et par là, je n'entends pas seulement les femmes. Il y a aussi des pays et des pays et d'autres choses» («И я читаю... Пруста и Аполлинера. Мы все несчастны в любви. Я имею в виду не только женщин. Есть и страны»).

Этот перевод, на мой взгляд, не совсем точен, слишком официальный, слишком тяжелое состояние духа он передает. Наверное, лучше было бы перевести: «Мы все недолюбленные. Я имею в виду не только женщин. Есть и страны, и еще кое-что».

Так что французский язык Мераба — язык свободы — был одновременно простонародным и поэтическим. Он чувствовал особый лиризм аргю. Встречая меня, он просил каждый раз: «Raconte-moi de tes frasques» («Расскажи мне о своих похождениях»). Непросто переводить эти сочные поэтические выражения. Неслучайно он был большим поклонником Селина, который ввел жаргон во французский литературный язык.

Как можно писать философские тексты, владея таким прекрасным устным стилем? Мне кажется, что именно на таком живом языке ему хотелось создавать свой философский текст.

У Мераба, как мы знаем, были особые отношения со смертью. Он часто о ней говорил, и чаще всего метафорически: он использовал французские выражения, но не банальные, а удивительно изысканные, восходящие к текстам Рабле и Монтеня. Например, «le grand jamais» — великое никогда, «la samarde».

И мне кажется, что Мераб Мамардашвили обладал гораздо большей языковой свободой во французском языке, чем в русском. Тому есть две причины: во-первых, он с детства читал и запоминал самые прекрасные французские тексты, и его мысль сформировалась под влиянием образцового языка любимых авторов, к тому же французский язык обладал легкостью и гибкостью, которые он нашел у Декарта. Во-вторых, использование чужого, неродного языка иногда допускает большую свободу, чем использование языка родного. В XX веке есть примеры такого двуязычия, я имею в виду Беккета и др. Если воспользоваться выражением Бродского, это отстранение от родного языка позволяет «смотреть на мир искоса», создает необходимую, творческую дистанцию. Это лежит в основе характерной для Мераба «extra-territorialité».

Иными словами, в случае Мераба Мамардашвили мы имеем дело с удивительным явлением философского билингвизма. Сейчас эта проблема стала особенно актуальной в литературоведении, о ней много пишут и много говорят, но гораздо реже применительно к философии.

Еще раз повторюсь: Мераб не переводил свою мысль с русского на французский, он философски мыслил на чужом языке, со вкусом подбирал точные слова, искусно выстраивал фразы. Вот почему, когда мне недавно предложили переиздать «Мысль под запретом» — цикл бесед, которые мы с Мерабом записали для радио «France Culture» и которые я опубликовала затем под названием «Pensée empêchée», — я подумала, что необходимо сделать двуязычное издание. Ведь те, кто читал эти беседы в «Вопросах философии»¹, даже не подозревают, что этот текст был произнесен Мерабом на чистейшем французском языке и что они держали в руках просто перевод на русский.

¹ Вопросы философии. 1992. № 4, 5 (перевод Т.Ю. Бородай).